

Глава XL

Наконец мы устроились на новом месте. Бен и мисс Фицджеральд заведовали редакцией, Рода хозяйничала в доме, а мы с Сашей занимались журналом. Поскольку каждый был занят собственным делом, мы получили больше простора для проявления различий в характерах и взглядах без излишней конфронтации. Все находили Фитци (так мы называли нашу новую коллегу) очаровательной женщиной, и Роде она нравилась тоже, хотя наша экономка часто забавлялась, шокируя романтическую подругу своими перченными остротами и пикантными историями.

Бен был доволен тем, что теперь его мать живёт с нами. У неё было двое сыновей, но весь её мир вращался вокруг Бена. Она обладала довольно узким кругозором, не умела читать и писать и интересовалась лишь собственным маленьким домом, который для неё создал Бен. В Чикаго она жила среди своих кастрюль и чайников, житейские бури внешнего мира её не касались. Она любила сына и была терпима к переменам его настроения, какими бы иррациональными они ни были. Он был для неё идолом, который не мог сделать ничего дурного. Что касается его многочисленных интрижек с женщинами: она была уверена, это они сбивают с пути её дитя. Она мечтала, что сын станет успешным доктором, почитаемым, уважаемым и богатым. Вместо этого он бросил практику, едва начав, «связался» с женщиной на девять лет старше его и спутался с шайкой опасных анархистов. Мать Бена всегда вела себя учтиво по отношению ко мне, но я чувствовала острую неприязнь с её стороны.

Я её прекрасно понимала: она была одной из миллионов людей, чьё интеллектуальное развитие сдерживалось узкими рамками их существования. Её одобрение или неодобрение мало бы меня заботило, если бы Бен не был точно так же одержим своей матерью, как и она им. Он осознавал, как мало было у них общего. Её отношение и манеры действовали ему на нервы и заставляли бежать прочь, как только он приезжал навестить её в Чикаго. И всё же освободиться от её хватки было выше его сил. Он постоянно думал о ней, а его любовь к другим женщинам из-за этой страсти всегда находилась под угрозой. Его сыновья зависимость заставляла меня страдать и даже приводила в отчаяние. И всё же я любила Бена, несмотря на все наши различия. Я мечтала жить с ним в мире и гармонии. Я хотела, чтобы он был счастлив и доволен, и согласилась на его затею перевезти мать в Нью-Йорк.

Ей выделили лучшую комнату, обставили её собственной мебелью, чтобы она чувствовала себя как дома. Бен всегда завтракал наедине с матерью у неё в комнате, никто не должен был нарушать их идиллию. Во время совместных обедов её усаживали на почётное место и обходились с ней с величайшей предупредительностью. Но она чувствовала себя неуютно, лишённая привычного окружения. Она скучала по своему старому дому в Чикаго и была недовольна и печальна. И вот в один злосчастный день Бен сел читать «Сыновей и любовников» Дэвида Лоуренса. С первых страниц он погрузился в роман вместе с матерью. В книге он разглядел её и свою историю. Редакция, наша работа и жизнь были забыты. Он

не мог думать ни о чём, кроме этой книги и своей матери, и начал воображать, что я — и все остальные — плохо к ней относятся. Он решил, что должен увезти мать отсюда, бросить всё и жить только ради неё.

Моя работа над рукописью о драме была в самом разгаре. На носу были лекции, большая работа с Mother Earth и кампания в защиту Хесуса Ранхеля, Чарльза Кляйна и их товарищей из ИРМ, арестованных в Техасе на пути в Мексику, где они намеревались принять участие в революции. Все они были мексиканцами, за исключением американца Кляйна. На них напал вооружённый отряд полицейских — трое мексиканцев и заместитель шерифа погибли в перестрелке. Теперь четырнадцать человек, включая Ранхеля и Кляйна, ожидали суда по обвинению в убийстве. Нужно было поднимать шумиху в газетах, чтобы открыть глаза рабочим Востока на опасность этой ситуации. Я приводила аргументы, я спорила, я умоляла Бена не позволять книге Лоуренса лишиться его рассудка. Но всё было напрасно. Мы стали ссориться всё чаще и ожесточённое. С каждым днём наша жизнь становилась всё более невыносимой. Нужно было искать выход. Я не могла ни с кем поделиться своим несчастьем, меньше всего — с Сашей, который с самого начала был против идеи жить под одной крышей с Беном и его матерью.

Наступил конец. Бен снова завёл старую песню о матери. Некоторое время я слушала молча, а потом что-то во мне сломалось. Меня охватило желание по собственной воле покончить с Беном, сделать нечто такое, что навсегда избавит меня от любых воспоминаний об этом создании, которым я была одержима столько лет. В слепой ярости я схватила стул и швырнула в Бена. Стул пролетел через комнату и рухнул у его ног.

Бен сделал шаг ко мне, потом остановился и уставился на меня с удивлением и испугом.

«Хватит! — закричала я вне себя от боли и гнева. — Довольно с меня тебя и твоей матери. Уходи и забирай её — сегодня, сейчас же!»

Он вышел, не проронив ни слова.

Бен снял небольшую квартиру для матери и поселился вместе с ней. Он снова стал приходить в наш офис. У нас оставалось много общих дел, но всё остальное было мертво. Я нашла забвение, с головой окунувшись в работу. Несколько раз в неделю я читала лекции, участвовала в кампании в защиту парней из ИРМ, арестованных в связи с забастовкой шахтёров в Канаде, и продолжала работать над своей книгой о драме, надиктовывая её Фитци.

Я познакомилась с ней ближе с тех пор, как она присоединилась к редакции Mother Earth. Она была редкой личностью, облечённой в прекрасную одухотворённую форму. Её отец был ирландцем, по материнской линии она происходила от первых американских поселенцев из Висконсина. От них Фитци унаследовала независимость и уверенность в себе. В пятнадцать лет она присоединилась к адвентистам седьмого дня, вызвав гнев отца. Но на этом её поиски истины не закончились. Её представление о Боге, как она часто говорила, было намного прекраснее и терпимее, чем концепция адвентистов. Так в один замечательный день она поднялась со своего места в разгар службы, заявила собравшимся, что не нашла

истины среди них, и вышла из маленькой деревенской церквушки — и одновременно из рядов верующих. Она заинтересовалась вольнодумством и радикализмом. Социализм её разочаровал, представ перед ней той же церковью, только с новыми догмами. Её широкую натуру больше привлекала свобода и размах анархических идей. Я полюбила Фитци за её врождённый идеализм и понимающую душу, и постепенно мы очень сблизились.

Год подходил к концу, а мы так и не отпраздновали новоселье. Мы решили, что Новый год будет отличным поводом собрать на вечеринку друзей и верных помощников Mother Earth, прогнать Старый год со всеми его проблемами и болью и весело встретить Новый, что бы он нам ни сулил. Рода с энтузиазмом трудилась дни напролёт не покладая рук, чтобы подготовиться к празднику. Канун Нового года привёл к нам вереницу друзей, среди которых были поэты, писатели, мятежники и представители богемы всех возможных убеждений, образа жизни и привычек. Они спорили о философии, социальных доктринах, искусстве и сексе. Они угощались вкуснейшими блюдами, приготовленными Родой, и пили вина, которые доставили наши щедрые итальянские товарищи. Все танцевали и веселились. Но я думала о Бене, у которого сегодня был день рождения. Ему исполнялось тридцать пять, а мне скоро должно было стукнуть сорок четыре. Это была трагическая разница в возрасте. Мне было одиноко и невыразимо грустно.

Новый год только начался, как страну облетела весть о новом надругательстве над рабочими. За ужасами в Западной Вирджинии последовала жестокость на хмелевых полях в Уитфилде, штат Калифорния, в шахтах Тринидада, штат Колорадо, и в Калюмете, штат Мичиган. Полиция, милиция и банды вооружённых граждан провозгласили торжество деспотизма.

В Уитфилде двадцать три тысячи сборщиков хмеля, которые откликнулись на объявление о работе, оказались в условиях, непригодных даже для содержания скота. Их заставляли работать весь день без отдыха и нормального питания, даже без питьевой воды. Чтобы утолить жажду в зной, они были вынуждены покупать лимонад по пять центов за стакан у членов семьи Дарста, владельца хмелевого поля. Не в силах больше выносить такое положение дел, сборщики послали к Дарсту делегата. На него напали и избили, после чего люди начали забастовку. Местные власти при содействии детективного агентства Бёрнса, Гражданской ассоциации, а впоследствии и Национальной гвардии терроризировали забастовщиков. Они разогнали собрание рабочих и без всякого повода открыли огонь. Два человека были убиты, несколько получили ранения; погибли также окружной прокурор и заместитель шерифа. Многие бастующие прошли через допрос с пристрастием, одного из них промариновали без сна четырнадцать часов, чтобы добиться признания, и он попытался покончить с собой. Другой рабочий, потерявший руку в ходе столкновений с полицией, повесился.

Последней жертвой этих американских черносотенцев была Мама Джонс, известная пропагандистка, представительница коренных народов. Её тираническим образом депортировали из Тринидада по приказу генерала Чейза, который угрожал посадить её под стражу *incommunicado*⁴³, если она посмеет вернуться. В Калюмете председателя Западной федерации шахтёров Мойера убили выстрелом в спину и вывезли из города. Подобные события в разных частях страны побудили меня прочесть лекцию о праве рабочих на

самозащиту. Радикальная библиотека Филадельфии пригласила меня выступить с этой темой в Лэйбор Темпл. Не успела я доехать до зала, как полиция всех оттуда выгнала и закрыла помещение. Тем не менее я произнесла свою речь в Радикальной библиотеке, а также в Нью-Йорке и многих других городах.

Отношения с Беном, которые становились всё более напряжёнными, наконец, стали невыносимы. Бен был несчастен не меньше моего. Он решил вернуться с матерью в Чикаго и снова начать медицинскую практику. Я не пыталась его удержать.

Впервые я должна была прочесть полный курс лекций на тему «Общественная значимость современной драмы» в Нью-Йорке на английском и идише. Для этой цели мы сняли театр «Беркли» на 44-й улице. Начиная это важное предприятие впервые за шесть лет без Бена, я чувствовала себя удручённой. Его отъезд был для меня большим облегчением, но теперь меня неодолимо тянуло к нему. Бен не выходил у меня из головы, а тоска по нему нарастала. Ночью я была полна решимости порвать с ним раз и навсегда и даже не принимать его писем. Утром я нетерпеливо перебирала почту, надеясь увидеть почерк, который действовал на меня как удар электричества. Ни один мужчина из тех, кого я любила, настолько полно не завладевал моей волей. Я сопротивлялась изо всех сил, но сердце самоабвенно алкало Бена.

По его письмам было понятно, что он проходит через то же чистилище, что и я, и не может освободиться. Он стремился вернуться ко мне. Его попытка заняться медициной провалилась; он писал, что я заставила его по-новому взглянуть на свою профессию, и он чувствовал, насколько её недостаточно, чтобы принести хоть какое-то облегчение. Он знал, что беднякам нужны лучшие условия труда и жизни — солнечный свет, свежий воздух и отдых. Как им могли помочь порошки и пилюли? Множество врачей понимают, что здоровье их пациентов не зависит от предписаний. Они знают, в чём настоящее исцеление, но предпочитают обогащаться на доверчивости бедняков. Бен писал, что никогда не сможет снова стать одним из них. Я его испортила. Я и моя работа стали слишком важной частью его жизни. Он любил меня. Теперь он понимал это лучше, чем когда-либо с момента нашей первой встречи. Он знал, что в Нью-Йорке вёл себя просто невыносимо. Он никогда не чувствовал себя свободно и непринуждённо в кругу моих друзей. Они не проявляли к нему доверия, и это настраивало его против них. Я тоже, казалось, менялась в Нью-Йорке; я заставляла его чувствовать Сашино превосходство, и я была более критична к нему, чем когда мы были одни в турне. Нам нужно попытаться снова, просил он, нужно уехать в турне вдвоём. Больше ему ничего не было нужно.

Письма Бена были как наркотик. От них помрачался рассудок, а сердце билось чаще. Я цеплялась за его заверения в любви.

Зимой страна снова стонала в муках безработицы. Более четверти миллиона людей остались без заработка в Нью-Йорке, и другие города пострадали не меньше. Положение усугублялось чрезвычайно суровой погодой. Газеты преуменьшали драматичность ситуации, политики и реформаторы оставались безучастными. Несколько полумер и дежурное предложение провести разбирательства — всё, что они могли противопоставить распространению нищеты.

Воинствующие группы решили действовать. Анархисты и члены ИРМ организовали безработных и значительно облегчили их страдания. На моих лекциях в театре «Беркли» и других митингах публика откликнулась очень щедро на призывы поддержать оставшихся без заработка. Но это была лишь капля в море нужды.

Тогда случилось неожиданное, давшее ситуации широкую огласку. Из рядов изголодавшихся и замёрзших людей прозвучал призыв навестить религиозные учреждения. Толпа безработных под предводительством видного молодого человека по имени Фрэнк Танненбаум начала поход на церкви Нью-Йорка.



Фрэнк Танненбаум

Мы все обожали Фрэнка за осмотрительность и неприязнательность. Он проводил много свободного времени у нас в редакции, читая и помогая издавать Mother Earth. Его прекрасные качества предвещали, что однажды Фрэнк сыграет важную роль в рабочей борьбе. Однако никто из нас не ожидал, что наш прилежный тихий друг так скоро откликнется на зов момента.

То ли из страха, то ли от осознания значимости похода на церкви, некоторые из них предоставили отрядам безработных кров, еду и деньги. Воодушевлённые успехом, сто восемьдесят девять безработных во главе с Фрэнком отправились в одну из католических церквей города. Вместо того чтобы принять их со смирением, священник Церкви Святого - Альфонса предал своего Бога, который завещал всё отдавать бедным. При поддержке двух сыщиков священник заманил Фрэнка Танненбаума в ловушку, где его и ещё нескольких безработных арестовали.

Фрэнка приговорили к одному году тюрьмы и выплате штрафа в размере пятисот долларов, что означало пятьсот дополнительных дней заключения. Он великолепно защищался, его

речь в суде была умной и дерзкой.

Самым возмутительным в аресте и заключении Танненбаума было равнодушие, с которым их восприняли так называемые покровители угнетённых. Социалисты и пальцем не пошевелили, чтобы раскрыть глаза общественности на очевидный заговор со стороны властей и Церкви Святого Альфонса с целью показательно покарать Фрэнка Танненбаума. В социалистическом ежедневнике *New York Call* посмеялись над арестованными парнями и даже написали, что Фрэнк Танненбаум заслужил взбучку.

Социалистическая партия и некоторые видные лидеры ИРМ пытались парализовать деятельность безработных. Но это лишь усилило рвение Ассоциации безработных, состоявшей из различных трудовых и радикальных организаций. Было решено провести на Юнион-сквер массовый митинг, датой выбрали 21 марта. Ни социалисты, ни ИРМ не стали в нём участвовать. Вдохновителем движения был Саша. Ему приходилось работать за двоих, поскольку я заканчивала рукопись, часто читала лекции и присматривала за редакцией.

Тот митинг был масштабным и воодушевляющим; он напомнил мне о подобном событии, произошедшем на том же месте и с той же целью — о демонстрации в августе 1893 года. Очевидно, с тех пор ничего не изменилось. Теперь, как и тогда, капитализм был безжалостен, государство сокрушало все личные и общественные права, а Церковь была с ними заодно. Сейчас, как и прежде, тех, кто осмеливался поднять голос в защиту безмолвной толпы, преследовали и сажали в тюрьмы, а массы, казалось, так и прозябали в своей покорной беспомощности. Эта мысль удручала, и мне хотелось бежать с площади. Но я осталась. Я осталась, потому что в глубине души верила, что в природе не бывает повторений. Я знала, что бесконечные изменения происходят каждую минуту, жизнь всегда находится в движении, новые потоки пробиваются из высохших источников прошлого. Я осталась и выступила перед огромной толпой так, как я могла говорить, только когда действительно превосходила себя.

Произнеся речь, я ушла с площади, а Саша остался на митинге. Вернувшись домой, он рассказал, что демонстрация закончилась парадом по 5-й авеню, где огромная толпа прошествовала, неся большой чёрный флаг — символ своего восстания. Наверняка это было ужасающее зрелище как для жителей 5-й авеню, так и для полиции, которая не посмела вмешаться. Безработные прошли до Центра Феррера, от 14-й до 107-й улицы, где их плотно накормили, выдали им табак и предоставили временное жильё.

Эта демонстрация стала началом общегородской кампании в защиту безработных. Саша, чья доблесть располагала к себе всех, кто знал о его жизни, был её организующей и направляющей силой. Прилагая невероятные усилия, он заручился поддержкой большого количество молодых бунтарей, которые энергично работали вместе с ним.

Мои лекции в театре «Беркли» были связаны с интересным и забавным опытом. Во-первых, мне удалось помочь севшей на мель группе уэльских актёров, во-вторых, я получила предложение выступить в варьете. Мои лекции о драме позволили мне бесплатно ходить в театры, и поэтому мне случилось посетить премьеру пьесы под названием «Перемена» уэльского драматурга Джона Освальда Фрэнсиса. Она оказалась самой мощной социальной

драмой, которую мне доводилось видеть на английском языке. Ужасающие условия работы уэльских шахтёров и их отчаянная борьба за то, чтобы вырвать пару жалких пенни у своих хозяев, волновали не меньше «Жерминаля» Золя. Кроме этого мотива пьеса также обращалась к вековой борьбе между упрямым молчаливым согласием старого поколения с существующим положением вещей и смелыми устремлениями молодёжи. «Перемена» была волнующим произведением большой социальной значимости, и уэльская труппа прекрасно её интерпретировала. Неудивительно, что большинство критиков осудили пьесу. Один друг сообщил мне, что уэльская труппа осталась без средств, и попросил меня привлечь внимание радикальных деятелей к их пьесам.

На специальном утреннем представлении, которое я помогла организовать, мне повстречались многие нью-йоркские драматурги и литераторы. Один очень популярный - драматург выразил удивление, как такая архиразрушительница, как я, может хлопотать о созидательной драме. Я попыталась ему объяснить, что анархизм представляет собой желание самовыражаться в каждой сфере жизни и искусства. Заметив его озадаченный вид, я добавила: «Даже тот, кто всего лишь считает себя драматургом, получит возможность самовыражения в свободном обществе. Если у него не окажется действительного таланта, к его услугам будут и другие почётные профессии на выбор — например, сапожник».

После представления многие из присутствующих выразили готовность прийти на помощь попавшим в затруднение актёрам. Также я привлекла внимание своей воскресной публики к этому вопросу и опубликовала призыв в Mother Earth. В следующее воскресенье я прочитала лекцию о «Перемене». В качестве гостей присутствовала вся уэльская труппа, и мне удалось пробудить достаточный интерес, чтобы театр смог проработать несколько недель. Не меньшую поддержку им оказали предварительные анонсы, которые делали наши друзья в каждом городе во время их турне по стране.

По завершении моего курса лекций о драме ко мне подошёл представитель театра-варьете «Виктория», которым владел Оскар Хаммерштайн. Он предложил мне ангажемент с выходом на сцену дважды в день и обещал заработок в размере тысячи долларов в неделю. Сначала я отшутилась. Предложение играть в водевилях меня не привлекало. Но этот человек продолжал настаивать на преимуществах общения с широкой публикой, не говоря уже о деньгах, которые я заработаю. Я отвергла это нелепое предложение, но со временем мысль о возможностях, которые может предоставить это предприятие, взяло верх. Нищета безработных сказалась и на доходах с наших митингов: большинство людей теперь не могли себе позволить такую роскошь, как книги или лекции. Надежда на то, что в новом доме мы сократим расходы, также не оправдалась. Несколько недель участия в водевиле освободят меня от финансовой рутины. Я смогу пожить год для себя, освободиться от всего и ото всех, год, чтобы отдохнуть, почитать книги ради их содержания, а не ради поиска материала для своих лекций. Эта надежда заглушила все мои возражения, и я отправилась к Хаммерштайну.

Распорядитель сообщил, что сначала придётся устроить мне пробы, чтобы убедиться в притягательности моего имени для публики. Мы прошли за кулисы, где он представил меня некоторым актёрам. Это была пёстрая толпа танцовщиц, акробатов и дрессировщиков с собаками. «Нужно будет вас куда-нибудь втиснуть», — сказал импресарио. Он размышлял,

стоит ли мне выйти перед танцовщицей или после дрессированных собак. В любом случае у меня будет не больше десяти минут. Из-за кулис я наблюдала за жалкими попытками развлечь публику: ужасные конвульсии танцовщицы, чьё дряблое тело было затянута, чтобы походить на фигуру молодой девушки, дребезжащий голос певицы, дешёвые шуточки комедианта и грубое веселье толпы. Потом я сбежала. Я знала, что не смогу излагать свои идеи в подобной атмосфере ни за какие деньги в мире.

Последнее воскресенье в театре «Беркли» превратилось в торжественный вечер. Вёл мероприятие Леонард Эббот, а среди выступающих были выдающаяся актриса Мэри Шоу, первая, кто бросил вызов американским пуристам своей игрой в «Привидениях» и «Профессии миссис Уоррен»; Фола Лафоллет, талантливая и прямолинейная; и Джордж Мидлтон, поставивший массу одноактных пьес. Они рассуждали о том, что для них значит драма и каким мощным фактором пробуждения общественного сознания людей, до которых иначе нельзя достучаться, она является. Они высоко оценили мою работу, и я была им благодарна за то, что они помогли мне ощутить, как мои усилия помогают приблизить часть американской интеллигенции к борьбе масс. В тот вечер я укрепилась в мысли, что мой вклад в общее дело был возможен во многом благодаря тому, что я никогда никому не позволяла себя куда-либо «втиснуть».

Работа в «Беркли» оставила мне ценный подарок в виде напечатанных лекций о драме. Стенографы часто пытались записывать мои речи, но напрасно. Я говорила слишком быстро, по их мнению, особенно когда была увлечена темой. Молодой человек по имени Пол Мунтер был первым среди своих коллег, скоропись которого обогнала быстроту моей речи. Он прослушал весь курс, все шесть недель, и в конце вручил мне стенограмму на превосходно отпечатанных листах.

Дар Пола очень пригодился мне в подготовке рукописи «Общественная значимость современной драмы». Благодаря этому работа была менее сложной, чем написание эссе, хотя в тот момент я была в более спокойном состоянии ума; я ещё надеялась на гармоничную жизнь с Беном. Теперь от той надежды мало что осталось. Возможно, поэтому я так вцепилась в её обрывки. Умоляющие письма Бена из Чикаго подлили масла в тлеющий огонь моей тоски. Спустя два месяца я начала понимать мудрость русской крестьянской поговорки: «Пьёшь — умрёшь, и не пьёшь — умрёшь. Так лучше упейся насмерть».

Разлука с Беном — это бессонные ночи, беспокойные дни, тошнотворная тоска. Быть рядом с ним — это конфликты и ссоры, ежедневное попираание своей гордости. Но также это экстаз и прилив сил, необходимых для работы. Я решила снова отправиться с Беном в турне. Если цена будет высока, я заплачу её, и я буду, буду пить!

Саша был как никогда внимателен и заботлив в те месяцы, когда я пыталась освободиться от Бена. Он был очень полезен, помогая мне редактировать книгу о драме; фактически я позволила ему почти полностью её закончить. Я чувствовала, что в его руках моя работа была в безопасности: он со всей скрупулёзностью и добросовестностью старался не исказить дух или замысел произведения. Мы также вместе работали над Mother Earth. Как прекрасны были те ночи, когда мы готовили номер к печати и пили крепкий кофе, чтобы не уснуть до рассвета! Они очень нас сближали, сильнее, чем все предыдущие годы — не то

чтобы что-то могло ослабить нашу связь или повлиять на дружбу, которая прошла через столько испытаний.

Поручив Саше корректуру моей книги и оставив Фитци присматривать за редакцией, я могла отправляться в турне. Фитци смогла не только доказать свою эффективность, но и проявила себя как хорошая подруга, прекрасная душа, и её интерес к нашему делу заставил меня стыдиться своих прежних сомнений на её счёт. Саша тоже осознал, что его бывшие возражения против «незнакомки» были необоснованны. Они подружились и хорошо сработались. Всё было готово к моему отъезду.

Моя книга о драме вышла из печати и выглядела довольно привлекательно в своей лаконичной обложке. Это была первая работа на английском языке, в которой раскрывалась социальная значимость тридцати двух пьес, написанных восемнадцатью авторами из разных стран. Единственное, о чём я жалела, — в ней не нашлось места представителям моей приёмной страны. Я прилежно пыталась отыскать какого-нибудь американского драматурга, которого можно было бы поставить в один ряд с великими европейцами, но тщетно. Похвалы заслуживали Юджин Уолтер, Рейчел Крозерс, Чарльз Кляйн, Джордж Мидлтон и Батлер Дэвенпорт. Однако мастера драматургии пока не было видно. Несомненно, однажды он появится, а пока мне пришлось довольствоваться возможностью привлечь внимание Америки к работам выдающихся писателей Европы и общественной значимости современного драматического искусства.

На лекции в Толедо кто-то оставил на моём столе визитную карточку. Она была от Роберта Генри, который просил сообщить ему, какие лекции я планирую провести в Нью-Йорке. Я слышала о Генри, видела его выставки, и мне говорили, что это был человек прогрессивных социальных взглядов. Позднее, на воскресной лекции в Нью-Йорке, ко мне подошёл высокий, статный мужчина и представился Робертом Генри. «Мне очень нравится ваш журнал, — сказал он, — особенно статьи об Уолте Уитмане. Обожаю Уолта и слежу за всем, что пишут о нём».

Генри оказался исключительной личностью, свободным и щедрым человеком. На самом деле он был анархистом в своём понимании искусства и отношении к жизни. Когда мы начали вечерние занятия в Центре Феррера, он тут же откликнулся на приглашение обучать наших студентов. Ещё он заинтересовал Джорджа Беллоуса и Джона Слоуна, и вместе они помогли создать дух свободы на занятиях по искусству, которого, вероятно, в то время не существовало больше нигде в Нью-Йорке.



Роберт Генри

Позже Роберт Генри попросил меня позировать для портрета. В то время я была занята, кроме того, несколько человек уже пытались меня нарисовать, но безуспешно. Генри сказал, что хочет изобразить «настоящую Эмму Гольдман». «Но где она, настоящая? — спросила я. — Мне так и не удалось её разыскать». Его прекрасная студия в Грамерси-парк, удалённая от грязи и шума города, и любезное гостеприимство миссис Генри были как бальзам на душу. Мы говорили об искусстве, литературе и либертарном образовании. Генри хорошо разбирался в этих вопросах, более того, он обладал необычайным чутьём на любое искреннее стремление. Проведя с ним замечательные часы, я узнала о школе искусств, которую он открыл несколько лет назад. «Студенты полностью предоставлены себе, — сказал он. — Чтобы развить всё, что в них заложено. Я лишь отвечаю на вопросы или предлагаю решения для наиболее сложных проблем». Он никогда не стремился навязать свои идеи ученикам.

Мне, конечно, не терпелось взглянуть на портрет, но, зная, как Генри не любит показывать незавершённую работу, я не просила об этом. Меня не было в Нью-Йорке, когда картина была закончена, но какое-то время спустя сестра Елена написала, что видела её на выставке в Рочестере. «Я бы не узнала тебя, если бы не подпись под картиной», — сказала она. Несколько друзей согласились с ней. Однако я была уверена, что Генри попытался изобразить то, что он считал «настоящей Эммой Гольдман». Я так и не видела этого портрета, но ценила память о времени, когда для него позировала, ведь оно так много для меня значило.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 18 апреля 2025 20:00:48

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 18 апреля 2025 20:02:56